

Клубные встречи

Когда-то (а именно в 1855-м) Плетнев писал Вяземскому: "Для сочинения о литературе эпохи Карамзина, Жуковского и Пушкина вы решились ждать мирного времени, мирной мысли и мирного сердца. Прекрасно. Но сбудется ли когда подобное ожидание? Не думаю. (...) Нам привелось доживать свой век посреди обществ, которые не понимают других наслаждений, кроме искусственного хищничества, и не наслаждаются другими победами, кроме успехов коварства. Долго пришлось бы ждать нам, если бы мы вздумали откладывать привычные свои удовольствия до возвращения на земле других нравов и других стремлений". Эти слова вспомнились мне после беседы со Станиславом Рассадиным, критиком и литературоведом, особенно привязанным, как можно судить по его книгам, именно к упомянутой эпохе. Впрочем, назвать его скучным словом "литературовед" как-то язык не поворачивается — пишет уж больно занимательно.

Станислав РАССАДИН:

Писатели вообще довольно поганый народ

— Станислав Борисович, у вас никогда не возникало ощущения, что в литературе уже все написано — и про жизнь, и про смерть, и про любовь — и идет просто перегонка порожняк? Хотя я понимаю, что говорить это вам — все равно, что убеждать волка, будто мясо кушать некорошо...

— Мне кажется, это настолько элементарно — что сказано не все. Просто время от времени у человечества или у поколения возникает ощущение, что да, все уже кончено, завершено. Как возникло оно сейчас в нашем постмодерне, если его можно так называть, потому что настоящий постмодерн — это не та ерунда, которую мы так именуем, а это Борхес, это Фаулз, это в какой-то мере Бродский. Бывают просто периоды некоторой усталости искусства от самого себя. Сейчас у нас эпоха раздряда, болота, эпоха именно этой усталости.

— Наша постмодернистка кажется вам имитаторами?

— Имитация тоже может быть частью искусства. А они прежде всего кажутся очень скучными людьми. Понимаете, я люблю, когда меня злят, шокируют, мне это интересно, меня это взбадривает. Если бы эта литература меня раздражала, я был бы доволен очень. Все-таки витальный элемент был бы. Беда, что все это очень примитивно, скучно, вяло. И я все время вспоминаю. Появляется как-нибудь Пригов, а я вспоминаю, что обэриуты были гораздо лучше.

— Но эти-то пытаются эпатировать.

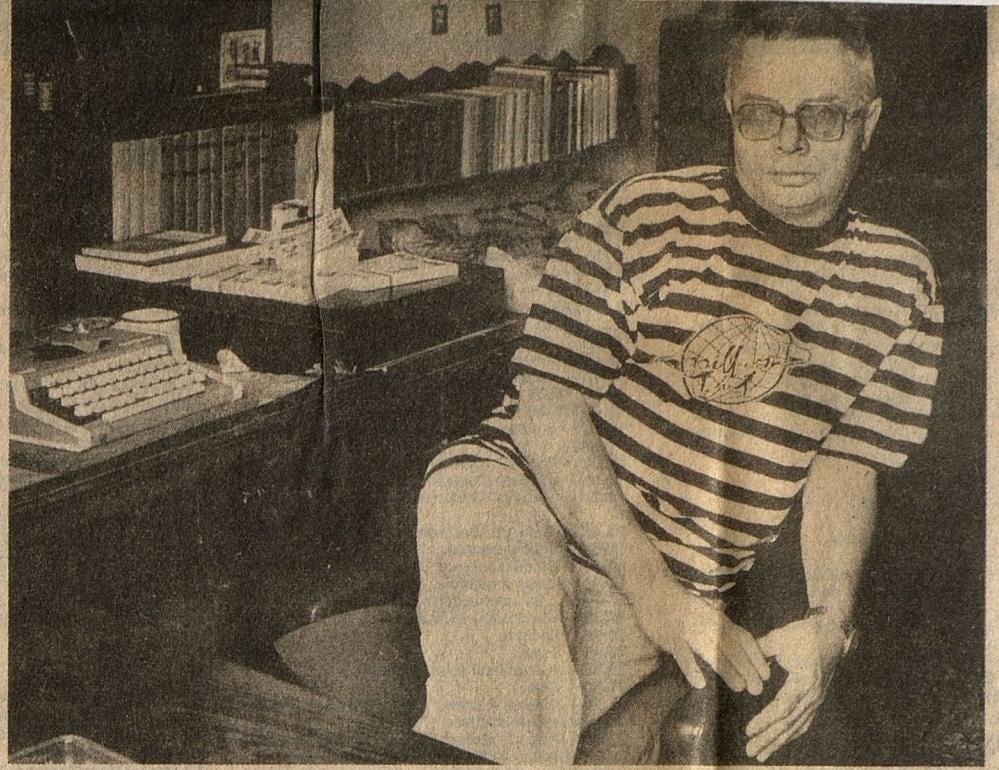
— Ну пытаются, но плохо это делают. Вот сколько-то лет назад прошлись голышом по Арбату. Ну и что? Попробовали бы они при Брежневе пройтись — это был бы эпизод. Загремели бы в кутузку, устроили бы им что-нибудь похлеще "бульдозерной" выставки. Кого они эпатировали? Старушку нищую? Она плюнет и отвернется. Власть? Власти на них налевать. Сам эпизод сейчас как-то не к времени.

— Время такого совестливого труда, что ли?

— Время просто усталости. Эпатировать усталых, несчастных, озабоченных выживанием — это неинтересно.

— А что сейчас надо утешать?

— Ну почему надо? Я вообще не люблю слова "надо" по отношению к искусству. Надо жить так, как живется. Надо думать, о чем думали всегда. Конечно, ущербение наша литература как-то упустила. В России слово "правда" обязательно требует к себе эпитет "горькая". Мы действительно упустили свои Дюма, своих Дикенсов — это все у нас было на уровне в худшем случае Булгакова, в лучшем случае, Вельтмана. А чита-



Реч. клуб. — 1996. 8 ч. 69

— С. 8.

ветное — датский язык. Слава Богу, там у меня друзья, очень много людей, любящих Россию и говорящих по-русски.

— Это слависты?

— Не только. Там вообще поразительные какие-то люди есть. Например, одна замечательная красавица женщина пишет книгу о Салехарде.

— Чего вдруг?

— Вот полюбила наш Дальний Восток, Сибирь, наш Север. Странные люди. Даже то, что многие из них были в юности "левыми", им как-то не повредило, но выработало в них какую-то странную совместность. Сейчас они поняли, что были дураками, когда левачили, но какая-то сострадательность в них осталась. Мне кажется, я вообще лучших людей в своей жизни не встречал. Они гостеприимны по-кавказски, добры. Для меня Дания сейчас — как бы норма человеческого существования: вот так надо жить, так надо любить свою страну. И вот еще поразительное их свойство — как только начинаешь читать у них восхищаться, сразу начинают волноваться: "А ты заметил, как много у нас плохого?" В одном маленьком городе построили здание полиции и сдали его в эксплуатацию, не успев сделать дверь для инвалидов. И инвалид-колясочник застрял там на несколько секунд в нормальной вертушке. Боже мой, как преска возмутилась, как она понимала власть! Или: "А ты знаешь, что произошло, — велосипед украден!" Это катастрофа, за голову хватается: что происходит в стране, куда мы катимся — украден велосипед!..

— А есть ли более серьезные по нашим меркам проблемы?

— Я там выгляжу жутким расистом — давно им говорю: вы хлебнете горя с эмигрантами. Очень широко открыли дверь для боснийцев и турок — и меняется структура общества. Я играю смешную роль: все время их пугаю. Но у меня перед глазами наша Прибалтика и много чего другого, и я говорю от горького советского национального опыта.

— А наши туда едут?

— Да, и Бог знает что несут. Одна москвичка стала политической беженкой, потому что сказала: поскольку я по маме грузинка, меня в Москве угнетают как национальное меньшинство. И эти дураки верят. Или даже знают, что им врут, но не могут себе позволить не верить. И, бедняги, за это еще поплатятся.

И они не могут вести себя иначе. И демократия — она должна быть неустойчивой, зыбкой. Поэтому что нет ничего устойчивой тирании. Потому сейчас наши люди так тоскуют по тирании, по диктатуре, потому что это устойчивость. Если берут соседа, ты себя убеждаешь: его взяли потому, что он плох — у него другая национальность, скверный характер и собаку вчера выгуливал не там, где надо. А меня за что? Я-то вот — ту! И таким образом даже репрессии самим поразительным образом внушили человеку ощущение устойчивости. А когда уже тебя берут, сажают, расстреливают, тогда уже поздно.

— Ну мы еще имеем шанс получить это.

— О-о... И какой шанс...

Фото Александра Абазы.

тель сейчас уже устает от всякой ерунды, чернушки, скепсиса, моды и возвращается к тому, чем он жил всегда. Вы посмотрите-ка, как исчезают хорошие книги, даже выходящие приличным тиражом.

— Но сейчас стало труднее издать литературоведческую книжку.

— Про себя-то я этого не могу сказать — мне повезло. Нашелся издатель, выпустивший мою книжку о Мандельштаме. В прошлом году вышла книга "Русские" — это портреты писателей. Но я все-таки, конечно, не литературовед, потому что крайне субъективен. Я своей субъективностью не то чтобы дорожу — я ее не стыжусь. И если не совсем неправда, что меня интересно читать, то потому, что я смотрю на минувшее сквозь современный взглядом. Когда я пишу о Денисе Давыдове, о Дельвиге, о Бенедиктове, о ком угодно, я все-таки выясняю свои личные, сегодняшние отношения: почему мне это интересно. Они для меня не мимули, они остаются, понимаете?

— А какого вы мнения о нашем читателе?

— В 86-м меня, старого дурака, забрали на военные сборы, и я месяц жил среди четырехсот мужчин с высшим образованием. И видел, что они читают — нормальные вполне люди, не дураки. Журнал "Человек и закон" и самые примитивные детективы — не Хэммета, не Чайза, а что-то непотребное. Правда, один чудак ходил с томом Достоевского под мышкой и даже, видимо, его читал... Сейчас настоящая литература — удел меньшинства, и тут ничего не поделаешь. Когда еще эстрадная поэзия бушевала, я говорил: если бы Ахматова вдруг встала из гроба, то "Лужники" бы не собрала. А немного погодя понял, что ошибался. Что собрала бы — и это самое ужасное. Поззия стала в тот момент делом престижным, и происходило опасное расширение круга ее читателей. Сейчас произошло сужение этого круга, и это нормально.

— Я уверен, что нынешние перемены в издательском деле к лучшему.

— Я тоже так считаю, хотя многие мои коллеги впадают в транс. Положение нормализуется. Вот писатели сейчас хотят, кричат: "Для кого писать? Не пишется!" Но что такое раньше было чудовищный монстр — Союз писателей? Около 10 тысяч человек, что ли, из которых русской грамотой владели не больше пяти процентов. И если мне сейчас жалко старых писателей, то жалко как старых, а не как писателей. Просто старики, которые свою жизнь потратили на то, что знают на что, писали бездарные книги. Сейчас их перестали издавать, перестали читать — ну жалко старых людей, обиравших их и утративших

смысла жизни. Но насчет писателя — извини, ты сам этот путь выбрал. Я и всегда говорил — и даже написать удавалось, — что интеллигентский и моральный уровень члена СП значительно ниже среднего интеллигентского и морального уровня советского человека. Писатели вообще довольно поганый народ, среда, извращенная преувеличенным представлением о значимости собственной профессии и уж тем более собственной личности. И то, что сейчас жизнь шандарахнула по голове, это и горько было, и обидно, в конце концов я и сам многое потерял, но это все-таки поворот к нормальному положению дел.

— Что-то вы потеряли, но вот обрели Данию.

— Все-то вы знаете... Да, так получилось, что я поехал в Данию, влюбился в эту страну и уже пять раз там был, и накратко наезжал. Народ чрезвычайно сложный, любопытный. Ценности их нам часто непонятны. Начиная с того, что мы считаем: ах, страна Андерсена! А главная фигура их культуры — человек, о котором мы даже не слыхали: Грундтвиг. 150 лет назад они переживали то, что мы переживаем сейчас: была империя, geopolитический колосс — и вдруг перестала им быть. Он терял Норвегию, влияние на Швецию, Ютландию, бывшую часть Дании, тоже становилась в этот момент ближним зарубежьем, так сказать. И как раз тогда Грундтвиг сказал: "Надо любить Данию за то, что она Дания". Я смотрю на них, и трудно подумать, что они при их благополучии после войны жили ужасно — плохо ели, обитали, по-нашему говоря, в коммуналках. И путь к своему благополучию проделали на память одного поколения. Это вызывает невероятное уважение.

— А мы о Дании только и знаем, что там Андерсен, памятник Русалочке, когда-то сексуальная революция и художник Бидstrup.

— Совершенно верно. Ну что поинтеллигентнее, знает еще Кьеркегора. А там много замечательных имен, которые до нас еще не дошли.

— А почему вы запали именно на датчан?

— Они удивительно нормальные — я очень люблю это свойство, самое редкое у нас. То, что раньше называлось гармонией: соразмерность, умение жить в мире с миром и с самим собой. А мы становимся хуже, мы портимся.

— Во времена Фонвизина, о котором вы выпустили две книги, мы были разве лучше?

— Нормальне были. Когда Брежнев произнес великую фразу насчет новой исторической общности — советского народа, мы все хихикали, а это чи-

стая правда: действительно стали советскими людьми. Ненависть к богатым, к удачливым, к талантливым — самое страшное, что в нас вбило. Это наше постоянное тяготение к общине, российское недоверие и презрение к индивидуальности, боязнь всего слишком оригинального — в этом смысле социалистическая революция не была нонсенсом в нашей истории. Эти постоянные прорывы в пустоту, жажда реванша... Вот и сейчас у нас страшные реваншистские настроения. Первым делом — свести счеты: сначала с партноменклатурой, теперь вот с "новыми русскими". И старушки в очередях говорят: "Вот будет 16 июня победа коммунистов — мы их всех постремлем".

— В литературе тоже шло сведение счетов: к примеру, сильно катили бочку на шестидесятников.

— Я воспринимал это спокойно: катили и катили. Хотя я как бы несус за это ответственность, раз уж пустил это слово накануне наступления 60-х. Но поколение шестидесятников в какой-то мере фантом. Это псевдоним времени, а не поколения. Шестидесятниками воспринимались тогда и старик Пастовский, и Окуджава, прошедший войну, и я, который был совсем еще падишахом. Это просто удобное слово для того, чтобы ругать кого-то за собственную неудачливость и творческую несостоинность. "Шестидесятники захватили все места!" Что захватил Окуджава? Славу? Известность? Но если вы сейчас растопчете — что, его место займет Пригов, что ли? Шестидесятники — это все очень разные люди. И я всю жизнь ругал Евтушенко, Вознесенского. Даже переругал. Евтушенко уж точно переругал, Вознесенского нет. Его я терпеть не могу.

— За коньюнктуру?

— Когда он писал поэму "Лонжюмо", не мне одному было ясно, что это стыдно. Все эти "Уберите Ленина с денег" — грубая и отвратительная коньюнктура. Но дело не только в этом. Когда-то у меня была статья о нем, называлась "Похоже на все непохожее". Создание собственного языка, который чрезвычайно примитивен, но маскируется под сложность, под богатство внутреннее. Для меня он чрезвычайно предсказуем, я вижу, как это сделано, и каждый раз знаю, чего ждать в следующей строке, в следующем стихотворении. Даже когда он старается быть страшно непредсказуемым. Он очень одаренный человек, но это какая-то холодная одаренность, лежащая вне духовной глубокости.

— Эк вы его сурово...

— Да, и Бог знает что несут. Одна москвичка стала политической беженкой, потому что сказала: поскольку я по маме грузинка, меня в Москве угнетают как национальное меньшинство. И эти дураки верят. Или даже знают, что им врут, но не могут себе позволить не верить. И, бедняги, за это еще поплатятся.

И они не могут вести себя иначе. И демократия — она должна быть неустойчивой, зыбкой. Поэтому что нет ничего устойчивой тирании. Потому сейчас наши люди так тоскуют по тирании, по диктатуре, потому что это устойчивость. Если берут соседа, ты себя убеждаешь: его взяли потому, что он плох — у него другая национальность, скверный характер и собаку вчера выгуливал не там, где надо. А меня за что? Я-то вот — ту! И таким образом даже репрессии самим поразительным образом внушили человеку ощущение устойчивости. А когда уже тебя берут, сажают, расстреливают, тогда уже поздно.

— Ну мы еще имеем шанс получить это.

— О-о... И какой шанс...

Фото Александра Абазы.